

Скоро в Советский Союз — впервые после долгой, вынужденной разлуки с Родиной — возвращаются Мстислав Ростропович и его жена Галина Вишневецкая. Ростропович приезжает как руководитель Национального симфонического оркестра США, с которым будет выступать в Москве и Ленинграде. Это событие пробуждает сейчас особый интерес к личности большого музыканта, к его судьбе, к проблемам эмиграции творческой интеллигенции в целом.

Материал, который мы вам сегодня предлагаем, не совсем обычный. Это диалог Мстислава Ростроповича и писательницы Нины Берберовой, «организованный» парижским журналом. Причем не просто диалог очень известных людей, представляющих русскую культуру зарубежья, но еще и их знакомство: до этого перекрестного интервью они никогда друг с другом не встречались.

Найти и получить эту публикацию нам помог французский журналист из «Пари-матч» Жан-Клод Зана, давний друг и почитатель М. Ростроповича. Со своей стороны, он захотел — специально к предстоящему событию и специально для «За рубежом» — написать несколько слов о любимом музыканте.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

«ВОГ», ПАРИЖ.

Мстислав Ростропович. Я хотел узнать ваше отчество...

Нина Берберова. А я — ваше.

М. Р. Меня зовите просто Слава... Можно и я вас буду называть Ниночкой?

Н. Б. Давайте сядем... Так, значит, ваша московская квартира сохранилась за вами?

М. Р. Да, со всеми моими вещами. Потому что моим обеим дочерям было оставлено советское гражданство. В течение этих пятнадцати лет делались попытки конфисковать квартиру. Но моя сестра, у которой хранились ключи от нее, заявила, что если это будет сделано, мои дочери немедленно сдадут свои паспорта. В самом деле, если бы их лишили возможности вернуться в свой дом, то не было бы уже никакого резона оставлять советский паспорт, который в любом случае разве что создает им жизненные осложнения... Да, это будет шоком — войти в свою квартиру. Если бы вы знали, как я плакал перед отъездом. Галина спала спокойно, а я каждую ночь вставал и шел на кухню. И плакал, как ребенок, потому что мне не хотелось уезжать! И вот сейчас предстоит снова оказаться в этих стенах. И я страшусь тех чувств, которые нахлынут.

Н. Б. Что касается Ленинграда, то туда лучше не возвращаться. И я не вернусь больше никогда. Это пустыня... Мы там жили на улице Жуковского, в доме номер шесть. Это была зажиточная улица. В домах имелись привратники, которые натрали до блеска медь дверных ручек. Теперь нет больше привратников, исчезла медь. Одно из парадных моего дома заколочено досками и забито гвоздями. Дверь другого еле-еле открывается. Наша квартира располагалась над маленькой лавочкой. Раньше на этой улице было много чудных магазинов... Итак, я все-таки приоткрыла тугую дверь левого парадного. Внутри — разруха. Лестницу я просто не узнала. Она сделана из мрамора, но его совер-

шенно не видно под слоем грязи. С потолка сыплется штукатурка. На ступени опасно ставить ногу: можно провалиться в дыру... Потом я отыскала окно моей спальни. Оно было разбито, виднелись какие-то грязные занавески, стекла тоже были грязные... Это действовало на меня угнетающе.

М. Р. Вы вошли в вашу квартиру?

Н. Б. Нет. Не люблю кладбищ. Всю свою жизнь интересовалась только людьми. Пейзажи, березки — это меня не интересует. И в Ленинграде я только и делала, что с утра до ночи встречалась с людьми... В этом городе прекрасно то, что можно видеть горизонт. Нет высотных домов. Исаакиевский собор по-прежнему остается выше всех других строений. Я остановилась в гостинице «Ленинград», на берегу Невы. Когда в своем номере я подошла к окну, то подумала, что так и останусь тут стоять до самого утра, не смогу заснуть. Ночь была на редкость прекрасной, набережная, на которой когда-то находилось французское посольство, была ярко освещена... Но расскажите мне теперь, как вы впервые в Москву попали?

М. Р. Мне было шесть лет, когда семья приехала туда из Баку. Мы вышли на соседнюю с вокзалом улицу и не знали, куда направиться дальше. Так там и стояли до позднего вечера. Мой отец говорил людям, которые проходили мимо: «У меня очень талантливый сын, он приехал в Москву учиться». Одна женщина — очень красивая, с черными глазами — задержалась возле нас, посмотрела на меня и сказала: «Мы живем с мужем и сыном в двух комнатах. Но вы можете остановиться у нас». Мы прожили у этой женщины несколько лет. Она была армянка. И я думал о ней, когда после землетрясения в Армении мы давали концерт, средства от которого предназначались пострадавшим...

Н. Б. В Советском Союзе меня пригласили как-то на встречу «на высшем уровне» — с участием главного редактора одного из литературных журналов. На ней присутствовал и Сахаров.



Фото «Таймс», Лондон.

Я пришла последней и подседа к столу, за которым уже обсуждался вопрос о так называемых приоритетах — то есть о том, что необходимо делать в стране в первую очередь. Находившиеся там четыре «товарища» говорили, что самым первостепенным делом должна стать культура. Мы с Сахаровым переглянулись: нам обоим самым главным представлялась экономика.

М. Р. Чтобы было, чем питаться.

Н. Б. И чем мыться...

М. Р. Да, мыло. Мыло, конечно, необходимо. Позвольте мне вас перебить. Я согласен, что пища обуславливает наше биологическое существование. Но потребность в том, чтобы мыться, — это ведь следствие нашей культуры!

Н. Б. Нет, я очень долго жила на Западе и могу вас заверить, что это совершенно не так. Как может существовать культура, если нет мыла? Как в таком случае мыться?

М. Р. Это верно. Но мне кажется, что культуру развивать все же легче, чем обеспечивать всех мылом. Чтобы производить мыло, необходимо иметь завод, а для существования культуры достаточно, чтобы просто были люди... Знаете, когда я читаю некоторые статьи, которые появляются сейчас в советских газетах, мое сердце переполняет гордость: какие же там есть необыкновенные, одаренные люди. Но их давили, ломали.

Н. Б. Судьба четырех последних поколений трагична. Когда смотришь на этих людей, хочется плакать. Необходимо, чтобы экономика встала на ноги. Как можно говорить о культуре, когда утром спускаешься в кафе, чтобы выпить кофе...

М. Р. ...а кофе нет?

Н. Б. Нет, кофе есть, но нет молока!

М. Р. Вы на два поколения старше меня. Мы оба здесь находимся в качестве эмигрантов. Но ведь ни вы, ни я не хотели этого.

Н. Б. Абсолютно верно.

М. Р. Нас вынудили уехать. Термин «эмиграция» — в данном случае неподходящий. Эмигрант — это человек, который не любит свой дом и

«Играй, Слава!»

ИТАК, близится возвращение на родную землю. Представляю волнение, которое вы оба — Галина и ты — испытаете, когда 11 февраля самолет приземлится в московском аэропорту...

Ты мне не раз повторял: «Моя жена и я выехали из СССР с согласия властей, у нас были на руках советские паспорта. И только потом, 16 марта 1978 года, в Париже, включив телевизор, я узнал, что меня лишили гражданства СССР».

Помнишь, когда это случилось, я спросил тебя: «Значит, ты уже больше не русский?» Ты пришел в ярость: «Я всегда буду русским. У меня душа, кровь русские. Дело не в документе!»

Подобно Улиссу, ты колесил с тех

уезжает, чтобы заработать в другом месте больше денег. Вот причины эмиграции. Но нас-то вынудили уехать. Так была разрушена целая плеяда — люди первой величины, превосходящие по своим качествам представителей моего поколения.

Н. Б. Те из них, кто захотел вернуться назад, например, Андрей Белый, умерли, потому что это было невыносимо.

М. Р. А Цветаева покончила с собой... Вот мы с вами сейчас здесь, вместе. Между нами — два поколения. Мы не были до сих пор знакомы. Ужасно об этом думать. Они разрушили нашу культуру, разъединили нас. Вот почему, Нина, сегодняшняя встреча с вами для меня праздник, большой, важный день!

Н. Б. Для меня — тоже.

М. Р. Понимаете, я не являюсь «продуктом» культуры вашей эпохи. А будущее поколение русских музыкантов не «выйдет из меня». Что нас с вами объединяет? Чайковский, Достоевский — о них мы можем гово-

Открытое письмо Мстиславу Ростроповичу

пор по свету, — везде прославляемый, награждаемый, почитаемый. Но всегда хранящий в сердце ностальгию по родному дому. Как ты был счастлив в тот день, когда твоя сестра смогла прилететь из СССР к тебе в гости. «До прихода Горбачева, — признался ты мне тогда, — я не думал, что подобное когда-либо станет возможным».

Ты подписан на многие советские газеты и журналы. Из них и из встреч с соотечественниками ты узнаешь о том, что происходит в твоей стране. Мне всегда бывает интересно услышать твои оценки. И я тереблю тебя вопросами: «Так что же, Слава, все-таки там происходит?»

И ты отвечаешь:

— Многое меняется. Все пришло в движение. То, с чем сталкивались мы с Галиной сорок лет назад, через что прошли, больше не существует. Или существует иначе. Горбачев в моем представлении подобен врачу, который, поставив диагноз, в состоянии прописать необходимое лечение. До него не ставилось никаких диагнозов. Надеюсь, что мои соотечественники помогут ему восстановить экономическое здоровье страны, моральные нормы. 70 лет от народа прятали правду. Горбачев ее открывает. Хотя, конечно, до него другие советские люди тоже пытались говорить правду. Но они за это чаще всего погибли.

— Солженицын уцелел...

— Да, он уцелел. Многое из того, что он в свое время сказал, мы сегодня слышим от Горбачева. Солженицын проложил путь и дорого за это заплатил. И мне больно оттого, что он не имеет звания почетного гражданина СССР. И что не получил еще официального приглашения вернуться к себе домой...

— Вы продолжаете видеться с ним?

— Мы регулярно с ним общаемся. Это мой большой друг. Если он вернется, это будет важным достижением перестройки.

...Сколько раз бывал я в твоей парижской квартире и пил с тобой чай на кухне, а Галина тем временем варила для тебя варенье — и какое варенье, пальчики оближешь! Не знаю никого друго-

го, кто был бы так же, как ты, счастлива в кругу своих близких — жены, старшей дочери Ольги, виолончелистки, младшей, Лены, пианистки. А если рядом еще и твои внуки, Иван и Сергей, ты просто таешь.

В ноябре ты совершенно неожиданно оказался возле берлинской стены и играл там — для всех, кто хотел слушать. Я потом корил тебя за то, что ты не сказал мне об этом необычном выступлении заранее: ведь можно было написать потрясающий эксклюзивный репортаж. В ответ ты сказал: «Я сделал это по велению сердца, а не ради саморекламы». Как журналисту мне было обидно. Как человек я оценил твой жест.

А вот совсем недавно я был свидетелем твоего отчаяния, обиды. Ты вместе с музыкантами твоего оркестра, Национального симфонического оркестра США, записал музыку оперы «Борис Годунов» для фильма, который ставил режиссер А. Зулавский. Когда тебе стало ясно, что фильм получается намного хуже, чем можно было предполагать, ты хотел протестовать. Но тебя грубо отстранили от работы над картиной, едва закончилась студийная запись музыки. Тебе навязывали молчание. Тебе угрожали преследованиями и большими штрафами, в случае если ты будешь высказывать несогласие. (Ростропович подал в суд, обвинив создателей картины в искажении классики и потребовав убрать некоторые эпизоды. — Ред.) Твоим именем и талантом просто беззастенчиво воспользовались. Те, кого ты считал своими друзьями, кому ты доверял, предали тебя, как предали Мусоргского и Пушкина. Слезы текли у тебя из глаз, когда ты мне рассказывал об этом.

Некоторое время тому назад, находясь в Москве, я спросил Виталия Коротича: «Если бы Ростропович вернулся, что бы вы ему сказали?». Он ответил: «Я бы просто попросил его играть — чтобы у него возникло чувство, будто он не покидал свою страну».

Так играй же, Слава! Играй! И пусть смолкнут пушки, пусть закроются старые раны. Пусть твоя музыка несет надежду на счастливые дни.

Жан-Клод ЗАНА.

речь, спорить. Но вот о Булгакове — уже не можем. О нем и о многих других, от кого мы были отрезаны... Я хотел бы тут еще кое-что добавить. Это касается того страшного 1948 года, когда Сталин диктовал свои указы, направленные против формализма в музыке, против Шостаковича и Прокофьева, и делал все, чтобы их повернуть. Я испытывал по отношению к этим двум композиторам величайшее восхищение. Это были мои боги, мои друзья, мои учителя. Именно тогда дирижер Самосуд, с которым я был дружен, сказал мне как-то: «Знаете, Слава, в чем состоит ненормальность нашей жизни? Прежде чем издать постановление против Шостаковича и Прокофьева, коммунистическая власть спрашивает мнение у народа. Рабочему задают вопрос, что он думает о Шостаковиче. Рабочий отвечает, что ничего не думает, потому что не разбирается в музыке. Тогда власть говорит рабочему, что именно потому, что он в этом не разбирается, он должен высказать свое мнение. А когда рабочий продолжает настаивать на том, что

ничего в музыке не смыслит, власть заявляет: «Раз вы ничего в этой музыке не понимаете, значит, она плохая и вредная для нас!» Точно так же поступали и с поэзией.

Н. Б. Как вы себя сегодня соотносите с русской и с американской музыкой?

М. Р. Видите ли, я вот уже тринадцать лет работаю в Вашингтонском оркестром (Национальный симфонический оркестр США. — Ред.) и нахожу, что в нем сейчас русские музыкальные традиции присутствуют в большей мере, чем в каком-либо из советских оркестров. Что же касается различий между русскими и американскими композиторами, то я отвечаю так: музыка, как, впрочем, и поэзия, рождается в результате определенного жизненного опыта. Если вам никогда не доводилось страдать, то в вашей музыке или в вашей поэзии накал чувств будет слаб. В этом состоит главное различие между произведениями моего друга Копленда и Шостаковича. Копленд — большой композитор, но он не драматичен. У Шостаковича же

музыка — это битвы, которые он ведет... С Шостаковичем меня связывала дружба, равной которой я просто не знаю. Я с ним познакомился, когда мне было шестнадцать лет. А Россию я покинул, когда мне было сорок семь. Более тридцати лет активной, действенной дружбы. Если у него не было денег, я ему помогал, и наоборот... У меня, конечно, есть друзья и в США. Я, например, очень люблю Леонарда Бернстайна. Он не только прекрасный композитор и дирижер, у него еще и громадное сердце. Когда в России я переживал трудный период и все обо мне забыли, он перед поездкой Эдварда Кеннеди в СССР специально встретился с его супругой. И вскоре в моей московской квартире зазвонил телефон, до этого уже долгое время хранивший молчание. Кто-то, плохо говоривший по-русски, сказал мне, что сенатор Кеннеди, который был принят Брежневым, выразил озабоченность в связи с моим положением. И все это произошло благодаря Леонарду Бернстайну!

Н. Б. Есть ли какие-то различия между русскими и американскими музыкантами?

М. Р. Да, конечно. В американских оркестрах музыканты имеют свои профсоюзы, которые их защищают, в Советском Союзе этого нет. Но вообще между молодыми русскими и американскими исполнителями сегодня нет разницы. В ту пору, когда я принимал участие в разных международных конкурсах, можно было сразу определить, кто из конкурсантов приехал из Германии, кто из Франции, кто из России. Но это было тридцать пять лет тому назад! А сейчас появилась одинаковость, которую можно объяснить техническим прогрессом, развитием средств массовой информации — телевидения, дисков, кассет. Каждый музыкант берет в каждой из стран то, что находит для себя интересным, и затем ассимилирует это. Все меньше различий между системами преподавания музыки, между школами. А как с этим сегодня в литературе?

Н. Б. Каждая страна продолжает все же сохранять свои особенности. То есть, например, то, что интересует американцев, не интересует французов, и наоборот. Французы более восприимчивы к новаторству в области стиля, в то время как американцы хотят просто читать интересные истории и знать все подробности из жизни, допустим, чемпиона по боксу. Сегодня быть хорошим писателем в США труднее, чем во Франции. А уж о поэтах я и вовсе не говорю — поэзии здесь больше не существует. Во всем этом я убеждаюсь на опыте собственных книг, которые в Европе имеют больше успеха, чем в США. Может быть, правда, по отношению ко мне французы проявляют особое внимание еще в связи с тем, что испытывают чувство вины. Во-первых, потому, что не печатали меня на протяжении длительного времени, во-вторых, потому, что «отпустили» из своей страны в 1950 году. Я была тогда вынуждена покинуть Францию по той причине, что нечем было платить за квартиру и негде издаваться. Таким образом, проведя первую половину своей жизни в скитаниях, мне пришлось двадцать лет спустя вновь ощутить неопределенность своей судьбы. Весь путь от вокзала Сен-Лазар (в Париже. — Ред.) до Гавра я не переставала рыдать. Но как только увидела перед собой дымящие трубы па-

рохода, на котором предстояло плыть в Америку, слезы исчезли. Не то, чтобы я утешилась, но мне вдруг стало интересно... Я должна сделать вам одно признание: идея национальной принадлежности, семьи, дома никогда не затрагивала меня по-настоящему. Когда в детстве я проходила по Морской улице и смотрела на дом, в котором, как мне рассказывали мои родители, я появилась на свет, у меня не возникало никаких особых чувств. Где родиться — на Морской ли улице или на Ивановской — это было мне всегда абсолютно все равно... Я никогда не искала той надежности, защищенности, которую дает семейный очаг. Напротив, считала годы в ожидании того момента, когда смогу оставить дом и быть наконец самой собой. Возможно, кого-то такие слова шокируют, но это правда.

М. Р. Вы, кажется собираетесь снова поехать в Россию в мае этого года?

Н. Б. Я получила приглашение принять участие в праздновании 150-летия со дня рождения Чайковского в Клину. И приняла его (Берберова — автор книги о Чайковском. — Ред.)... Когда я возвращалась в Россию полгода назад, мною двигало желание снова увидеть Ленинград. Но на этот раз я поеду, чтобы увидеть людей, с которыми я встретила в свой первый приезд... У меня была одна совершенно удивительная встреча в музее Горького в Москве. Там я сразу попала в объятия какой-то женщины — мне показалось сначала, что ей лет сорок, а на самом деле ей уже шестьдесят. Это была Марфа, внучка Горького! Когда я видела Горького в последний раз, она еще только должна была вот-вот родиться! Мы сразу влюбились друг в друга и не хотели расставаться. Она — научный сотрудник этого музея. Мы с ней пили там чай с пирожными и разговаривали. А потом меня неожиданно попросили пройти в соседнюю комнату. Там на письменном столе были разложены фотографии. Сотрудники объяснили мне, что часть изображенных на них рядом с Горьким людей им неизвестна. Я жила в доме Горького с 1922 по 1925 год (время, когда писатель находился в Германии, Чехословакии, затем в Италии. — Ред.) и знала всех, кто у него тогда бывал. Шестнадцать или семнадцать из двадцати изображенных на снимках «неизвестных» мне удалось «опознать».

М. Р. Но неужели возвращение в Россию вас не разбредило, не взволновало?

Н. Б. Нисколько! Ведь уже в детстве у меня отсутствовало чувство или сознание очага. Поэтому и теперь, вернувшись, я не испытала потрясения. У меня нет ностальгии по стране.

М. Р. Для вас, Ниночка, все это, конечно, совсем не так, как для меня. Потому что вы уехали оттуда так давно! Вы знали ту Россию, которая сегодня кажется сказкой. В те времена жизнь там была гораздо лучше, чем в мое время. Я же вернулся примерно в ту же страну, которую покинул пятнадцать лет назад. За эти пятнадцать лет я потерял там своих лучших друзей. Они все умерли — Шостакович, Хачатурян, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс... Я словно возвращаюсь в опустевший дом. Это много — пятнадцать лет!